

Aleksiej Dmitrowskij

Пушкин "Борис Годунов", Блок "Возмездие" : сравнительная типология русско-польских МОТИВОВ

Acta Polono-Ruthenica 6, 277-283

2001

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Aleksiej Dmitrowskij
(Rosja, Kaliningrad)

Пушкин *Борис Годунов*, Блок *Возмездие*: Сравнительная типология русско-польских мотивов

120-летие со дня рождения Александра Блока, отмеченное в 2000-м, итоговом году XX века, знаменательно совпало с 90-летием начала его работы над поэмой *Возмездие* и со 175-летием трагедии Пушкина *Борис Годунов*. И если рассматривать русскую литературную классику как особый и целостный период, то нельзя не заметить, что трагедия *Борис Годунов* составила высший философско-исторический синтез её начального „золотого века“, а поэма *Возмездие*, также философско-историческая по проблематике, стала знаковым произведением её завершающего „века серебряного“. Добавим к тому, что первое произведение, посвящённое катастрофической русской смуте конца XVI–начала XVII века, создавалось в канун восстания декабристов и явилось как бы упреждающим ответом на него, а второе вершилось, оставшись незаконченным, в канун грандиозного социально-исторического сдвига 1917 года, которого оно стало своеобразным предчувствием и предвестием.

Так два великих произведения русской классики одновременно сближаются и противостоят друг другу в своих исторических рубежах, жизненной фабульности и художественной сюжетике. Они смыкают философско-историческое мышление XIX и XX века, образуя в нашем восприятии своеобразное взаимоотражение. Для предлагаемого исследования важно, что проблематика обоих произведений осуществляется в сопряжении судеб двух великих славянских народов: русских и поляков. Причём идея человеческого и исторического воздаяния-возмездия, концептуально заявленная во втором произведении, фактически господствует в них обоих.

В сюжете обоих произведений польским мотивам принадлежит особо значимое место. В пушкинской трагедии, состоящей из 22 сцен, они композиционно центральные – с 11-ой по 14-ую, а в поэме Блока польская медитация составляет третью, заключительную главу и предполагавшийся эпилог. И это при том, что в первоначальных планах трагедии польских

сцен не было совсем: Пушкин „пришёл” к ним в ходе работы, – а поэма Блока как раз начиналась польской тематикой. Здесь было бы трудно согласиться с мнением Б. П. Городецкого, видевшего в польских сценах *Бориса Годунова* лишь вспомогательную роль, т. е. раскрытие обстоятельств и характера авантюры Самозванца.¹ В то же время вывод С. А. Михеевой о том, что в поэме Блока польская тема „составляет её структурно-смысловое ядро”,² в определённой степени распространяется и на произведение Пушкина.

В целом русско-польский мотив составил эпицентр общеславянской проблематики Пушкина и приобрёл для нашего взаимного самосознания пророческое значение. В инвективе 1831 года *Клеветникам России* поэт писал об исторической драме двух народов, субстанциально призванных как раз к осуществлению общеславянского благоденствия:

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозю
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре?³

Трагедия и поэма запечатлели как раз исторически противоположные, но одинаково порочные перепады этого „неравного спора”, где в первом случае в результате разрушительного вторжения польских наёмников, возглавлявшихся Самозванцем, „клонилась” русская сторона, а в другом „клонилась” сторона польская, страдавшая от „военных русских пошляков”. И в обоих случаях мы видим, как злонамеренные умыслы и прямое насилие друг над другом поляков и русских неотвратно влекут падение их собственного духовно-нравственного потенциала со всеми вытекающими общенациональными последствиями. Так благодатное чувство личного человеческого достоинства подменяется у русского Самозванца погибельной гордыней, в чём он сам признаётся: „Винювен я; гордыней обуянный, обманывал я Бога и царей”, – и оборачивается пустой чванливостью у случайного

¹ См.: Б. П. Городецкий, *Драматургия Пушкина*, Москва-Ленинград 1953, с. 130.

² С. Михеева, *Польская тема в поэме А. Блока Возмездие*, „Acta Polono-Ruthenica”, t. 1, Olsztyn 1996, с. 74.

³ А. С. Пушкин, *Полн. собр. соч.: В 17 т.*, Москва 1995, т. 3, кн. 1, с. 269.

польского наёмника, похваляющегося, что „поляк один пятьсот москалей вызвать может”.

Точно так же любовь и верность вытесняются бесчестным расчётом, ввергая в национальное предательство. Свидетельство тому в сфере интимно-личных отношений – это сцена у фонтана, где Марина, до того „хладно” отвергавшая любовные мольбы рыцарей и графов благородных, теперь ради призрака московского престола изъявляет полную готовность связать свою судьбу с явным проходимцем, беглым монахом. А в общенациональном плане это собирательный образ польского сына в поэме Блока, который „изменил отчизне” и „жадно пьёт с врагом вино”, что представляет как раз полное соответствие характеру и образу действий Самозванца в трагедии Пушкина. И одновременно вершиной лирической медитации в поэме *Возмездие* становятся одинаково трагические образы матери-России, которая, „как птица”, тужит о детях, терзаемых ястребами, и страдающей Польши, где „всю ночь безумно плачет мать”.

Да, Блок свидетельствует историческую драму двух родственных народов, где одна страна превращена в „задворки” другой, что на новом витке истории вызывает по своим неизбежным последствиям ещё более страшное проявление всё той же художественно диагностированной в трагедии Пушкина авантюристической гордыни, порождающей очередной всплеск гордыни-мести. И вот в Варшаве 1909 года, по наблюдению поэта, „всё, что было, всё, что есть, надуту мстительной химерой”. Отметим попутно, что той же „химерой” были притязания Самозванца и Марины на московский престол, приведшие к большой крови, русской и польской. Но здесь поэт создаёт аллегорическую картину гордыни-мести в её предельной собирательности. Её мифообраз.

„Мечь! Мечь!” – в холодном чугуне
Звенит, как эхо, над Варшавой:
То Пан-Мороз на злом коне
Бряцает шпорою кровавой (332).⁴

Кстати, Л. К. Долгополов справедливо трактует польскую тему Блока в задачах национально-освободительной борьбы. „Акт борьбы за национальную независимость, – пишет он, – вырастает в сознании Блока

⁴ Источник здесь и далее цитируется по изд.: А. Блок, *Собр. соч.: В 8 т.*, Москва 1960, т. 3 – с указанием страниц в тексте.

до возмездия всему старому миру”.⁵ Однако он упускает из виду противоречия самой этой борьбы, осмысленные у Блока в эмоционально-отрицательной трактовке её нравственно-психологического обеспечения. В самом деле, образ Пана-Мороза, четырежды именуемый в третьей главе поэмы, развёртывается в целую мистерию мести, причём в эпитетах однозначно нелицеприятного смыслового ряда: *холодный, злой, кровавый, свиреп, неистово, взбешённый, мёрзлого, опустелой*, и лишь один эмоционально сдержанный эпитет *чётко* – всего девять. Мотивы злого коня и кровавой шпоры присутствуют в двух случаях, а концепт мести звучит даже четырежды.

Но в высшей степени показательно, что сам Пан-Мороз при этом „безмолвен” и „тоской убитый”. Тем самым подтверждается христианский завет, согласно которому гордыня, месть и тоска пребывают в одном ряду греховных чувств, и становится самоочевидным парализующе-пагубное воздействие чувства мести, возведённой в абсолюте, на самого же носителя, а значит, и её историческая бесперспективность.

Так в обоих произведениях в сюжетно-персонажной и медитативно-речевой форме выступают не создатели-творцы национальной истории, а лишь её фигуранты и лицедеи в гибельном самогипнозе гордыни и мести, чем исключается возможность разрыва порочного круга антиистории и спасительного возведения себя к исходному общеславянскому призванию. И понятно, почему в обоих произведениях „безмолвствует народный гений”. Точнее, у Пушкина народный гений явлен в форме исторического „доноса” Пимена и прямого приговора Юродивого. Но тем нагляднее пагубным оказывается отсутствие гения спасительного народного действия (реальные Ян Собески, Пётр I, Минин, Костюшко). И не случайно слова Блока о безмолвии польского народного гения составляют реминисценцию знаменитой пушкинской ремарки о русских: „Народ безмолвствует”.

В обоих произведениях присутствует и является сюжетно ключевым мотив ребёнка, мальчика, но с прямо противоположными смысловыми и композиционными модусами. В пушкинской трагедии – убийство двух наследников престола – Дмитрия и Феодора. В поэме Блока два рождения – сына и его русско-польского отпрыска. В трагедии убийство царевича Дмитрия составляет фабульный пролог двойной авантюры преступной совести – Бориса Годунова и Самозванца, а

⁵ Д. К. Долгополов, *Александр Блок. Личность и творчество*, Ленинград 1978, с. 120.

расправа над юным Феодором Годуновым образует как бы зеркальное отражение этого убийства и композиционную завершённость сюжета. В отличие от этого сюжет *Возмездия* имеет открытую композицию. Рождение сына в финале первой главы становится очередным этапом „взлёта и падения” рода, а появление на свет третьего отпрыска длинного рода, предполагавшееся, согласно позднейшему Предисловию 1919 года, в эпилоге, – „которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чём не ведающая” (299), – создаёт эффект разомкнутости сюжета в историческое будущее.

Этому рождению, явно символизирующему родство и общность двух народов, впавших в грех исторического самоотчуждения, Блок заметно придаёт провиденциальное значение. Это знак преодоления нашей взаимной антиистории и вступления в свою подлинную Историю. В этой связи становится показательной авторская номинация „младенца” в Предисловии, естественно ассоциирующаяся с евангельским текстом Рождества. И также знаково евангельское имя его матери – Мария; на это верно указал Л.К.Долгополов.⁶ К тому же имя простой польской женщины Марии, дающей жизнь новой русско-польской истории, преемственно и тем более как под перстом указующим совпадало с реальными именами матерей обоих убиенных детей, обозначивших трагедийный сюжет, – Марии Нагой и Марии Годуновой.

Блоковская идея „высоко взлетающего и низко падающего рода” в своём генезисе тоже оказывается пушкинской. В пьесе это трагедия двух русских родов, взлетевших предельно высоко и павших катастрофически. Это Рюриковичи и Годуновы. И ещё претенденты на новый взлёт, но уже изначально запрограммированные на позорный финал – Самозванец и Марина. А у Блока это „два-три звена” одного-единного рода, в чём можно видеть творческое преображение другого пушкинского намерения – пересказать „преданья русского семейства”, высказанного в романе *Евгений Онегин*, которому поэма Блока сродни как раз во многих своих параметрах.

Мотив младенца в намечавшемся эпилоге ещё не обрёл у исследователей убедительного решения. Прав профессор Б. Бялкозович, утверждая связь варшавских впечатлений поэта „как с историей Польши и

⁶ Там же.

России, так и с судьбами человечества”.⁷ И в конечном итоге эта связь, по нашему убеждению, осуществляется именно в мотиве и сюжете русско-польского младенца. Л. К. Долгополов на этот счёт пишет: „Его [младенца – А. Д.] появление на свет знаменует гибель, уход рода в прошлое, означает наступление нового исторического времени”.⁸ Вторая часть предложенной интерпретации полностью справедлива, но первая, на наш взгляд, актуализирована всуе, ибо не на гибели рода зиждется целостный смысл поэмы, а на возможности его воскресения. Рождение русско-польского младенца, символизировавшее родственное замирение двух народов, органически совмещается с надеждой обретения человеком своего органического единства с историей. Ведь это было рождение человека, который, по Блоку, „может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю” (299).

Требует также уточнения трактовка идеи возмездия, содержащейся в концепции поэмы и вынесенной в её заглавие. Исследователи почти единодушно усматривают здесь обвинительный приговор старшему поколению со стороны младшего. Так, Б. И. Соловьёв пишет: „Рождается новое поколение, и оно несёт с собой возмездие промотавшимся и растратившим все духовные сокровища «отцам», изменившим своему человеческому долгу и назначению”.⁹ В этом же смысле однозначного суда над старшими трактуется знаменитый эпитаф из Ибсена „Юность – это возмездие”. Но, как представляется, сверхзадача поэмы состояла отнюдь не в беспощадной каре, а в мучительно-тяжком человеческом преображении и последующем воскресении.

В. И. Даль на основании живой практики русского языка дал следующее определение возмездию: „воздаяние, награда и кара, плата по заслугам, вознаграждение; возврат, отдача”.¹⁰ Так вот, возмездие в поэме (в трагедии тож) – это воздаяние, то есть плата по заслугам. И человек (персонажи), и поколения („звенья рода”) сами закладывают и формируют характер своего будущего возмездия – награды или кары. Пушкин никому из своих главных действующих лиц не отказывает в возможности

⁷ Б. Бялокозович, *Польша и поляки в творческом сознании Александра Блока*, [в:] Б. Бялокозович, *Родственность, преемственность, современность*, Москва 1988, с. 170.

⁸ *Поэмы Блока и русская поэма конца XIX – начала XX веков*, Москва-Леринград 1964, с. 116.

⁹ Б. И. Соловьёв, *Поэт и его подвиг*, Москва 1980, с. 392–393.

¹⁰ В. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.*, Москва 1994, т. 1, стлб. 559.

нравственного воскресения.¹¹ Борис Годунов пребывает в постоянных мучениях совести, свидетельство чему „мальчики кровавые в глазах”. И Самозванец сокрушается по поводу своего вторжения в родные пределы: „Кровь русская, о Курбский, потечёт”. И даже Марина („мраморная нимфа”) восклицает в критический момент объяснения с Самозванцем: „О стыд, о горе мне!” – чем свидетельствует истинно глубокий, но лишь мгновенный голос совести. И все они не только не удерживаются в этих спасительных для себя прозрениях, но, наоборот, всей силой нравственной ущербности стремятся как бы заведомо исключить возможность грядущего возмездия-вознаграждения.

Итак, почти через 100 лет после Пушкина, но в общей с ним парадигме русско-польской проблематики Блок создал в образе младенца символ исторического возмездия как воздаяния и платы по заслугам, как благодатного снятия и преодоления внутриславянских исторических грехов и нашего взаимного воскресения и Возрождения.

¹¹ Подробно об этом см.: В.С. Непомнящий, *Феномен Пушкина и исторический жребий России*, [в:] *Пушкин и современная культура*, Москва 1996.